

СМЕРТЬ КАК КОМПОНЕНТ СЮЖЕТА РУССКИХ МЕМУАРОВ XVIII в.

Рассматриваются сюжеты русских мемуаров XVIII в. с точки зрения выявления семантических и ситуативных вариантов смертного компонента, который следует отнести к обязательным звеньям мемуарного сюжета. Как компонент мемуарного сюжета смерть обладает большой семантической и ситуативной вариативностью и, будучи центром обширного семантического поля, оказывается онтологически близка к своей противоположности – рождению. Эта связь обеспечивается прежде всего особым ощущением времени в мемуаристике, сопряжением мимолетного и вечного.

Ключевые слова: мемуары; сюжетология; смерть; автор-самовидец; событие.

Русские мемуары XVIII в. представляют не только безусловную историко-культурную ценность, но и являются благодатным материалом для исследования специфики произведений этого жанра в сюжетологическом аспекте. Хроникальный в целом характер мемуарного сюжета определяет и его «элементарную структуру» [1. С. 3], те универсальные компоненты, без которых не может обойтись ни одно автобиографическое повествование. К таким обязательным звеньям мемуарного сюжета, безусловно, относятся рождение и смерть (по крайней мере, в XVIII в., когда происходит формирование самого жанра в русской литературе). Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы в первом приближении описать мемуарные сюжеты с точки зрения выявления семантических и ситуативных вариантов смертного компонента.

Мемуарный жанр возникает в ответ на потребность человека Нового времени осмыслить свое «Я». Именно в период петровских преобразований и в последующие десятилетия XVIII в. происходят открытие и осознание личностного начала, собственного «Я» в общеисторическом и общекультурном контексте, значимости индивидуального бытия в масштабах эпохи. Мемуары позволяют их автору осмыслить и описать собственную жизнь в трех плоскостях, что определяет и триединую позицию автора–повествователя–героя. Во-первых, жизнь предстает как некая череда событий, оставшихся в памяти, следовательно, исключительных и чрезвычайно значимых. Мемуарный нарратив есть, выражаясь языком В.И. Тютю, «эпизодизация событий, формирующая историю» [2. С. 184] жизни автора-мемуариста. Как отмечал в свое время Ю.М. Лотман, «поведение человека осмысленно. Это означает, что деятельность человека подразумевает какую-то цель» [3. С. 417].

Этим определяется второй план мемуарного повествования, когда сама биография автора становится событием. Но обратимся к продолжению цитаты из работы Лотмана «Смерть как проблема сюжета»: «...понятие цели неизбежно включает в себя представление о некоем конце события» [Там же]. Жизнь мемуариста представляется как событие, у которого (как у всякого другого) есть две крайние точки – начало и конец, рождение и смерть. Именно эта завершенность, в конечном итоге, является главным побудительным мотивом для написания мемуаров.

Третий план можно было бы назвать интенциональным, поскольку он связан с осознанием собственной жизни как исключительного события, кото-

рое, безусловно, заслуживает презентации (для XVIII в. презентации еще не публичной, внутрисемейной) и осмысления с точки зрения его места в ряду других подобных событий. Жизнь «всех» в сравнении со своей собственной становится в каком-то смысле подтверждением ее исключительности. «Я» мемуариста оказывается, с одной стороны, вписано в общий процесс, но, с другой стороны, явно отделено от него. Это может выражаться не только в неких исторических зарисовках, но даже и в бытовых частностях. Так, например, Н.Б. Долгорукая, описывая сборы в ссылку с мужем, фиксирует: «Подумайте, какво мне тогда было видеть: все плачут суетятца, собираютца, и я суечусь, куда еду, не знаю, и где буду жить – не ведаю, только что слезами обливаюсь» [4. С. 266]. Соотношение «все–я» здесь весьма показательно для мемуарного жанра в целом. И, конечно, это напрямую касается и таких значимых, и, как уже было сказано, обязательных звеньев мемуарного сюжета, как смерть.

Специфика изображения и осмысления смерти в мемуарном тексте заключается в следующем: смерть одновременно событийна и не-событийна. Это во многом зависит от степени «включенности» (событийной, эмоциональной) автора в описываемую ситуацию. В первом случае это касается значимых для мемуариста людей (родителей, супруга, государственного «мужа» и т.п.), сам факт смерти которых важен в личной истории, рассказываемой автором.

Обратимся снова к «Своеручным запискам» Н.Б. Долгорукой, где особое внимание уделяется смерти Петра II, поскольку последствия этого события для автора «Записок» были поистине катастрофическими: ссылка вместе с мужем сначала в отдаленное фамильное имение, а затем и в Березов: «И так час от часу пошло хуже. Куда девались искатели и друзья, все спрятались, и ближние отдалече меня стаща, все стали уже меня боятца, чтоб я встречу с кем не попалась, всем подозрительно. Лучше б тому человеку не родитца на свете, кому на время быть велику, а после притти в нещастие: все станут презирать, никто говорить не хочет» [Там же. С. 261]. Смерть монарха в данном случае знаменует собой резкий поворот мемуарного сюжета, который можно было бы сравнить с пуантом в новеллистике, если бы не временная дистанционированность повествователя от описываемых событий. Именно эта обусловленная жанром дистанция позволяет автору «предвидеть» буду-

щее себя-героя, что, в свою очередь, снимает эффект неожиданности для читателя.

Сюжетная ситуация «смерть правителя / монарха» в череде мемуарных сюжетных ситуаций, связанных со смертью, стоит особо. По степени частотности в мемуарах XVIII в. она не уступает ситуациям, связанным со смертями близких родственников, что вполне понятно: личная биография воспринимается как часть истории, поскольку собственная судьба зачастую зависит от воли монарха. Именно ощущение сопричастности истории побуждает Е.Р. Дашкову написать уже во втором предложении своих «Записок»: «Императрица Елизавета как раз вернулась из Москвы после коронации. Она воспринимала меня от купели, а крестным отцом был великий князь, будущий император Петр III» [5. С. 68]. Это же ощущение позволяет Г.Р. Державину писать о смерти Екатерины II: «...пошла по позыву естественной нужды в отдельную камеру, и там от эпилептического удара скончалась» [6. С. 180]. Он чувствует себя вправе сообщать подобные подробности, поскольку «начав ей служить <...> от солдатства, слишком через 35 лет дошел до знаменитых чинов, отправляя безпорочно и безкорыстно все возложенные на него должности, удостоился быть при ней лично, принимать и исполнять ее повеления с довольною доверенностью» [6. С. 180–181]. В «Записках» Державина зафиксированы смерти четырех монархов (Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II и Павла I) и многих государственных деятелей (например, Потемкина), но только о смерти Екатерины он пишет так подробно и лично. Что не удивительно – слишком многое в жизни самого Державина связано с екатерининским временем и лично с императрицей.

В мемуарном сюжете в высшей степени реализуется общекультурное стремление к преодолению смерти и страха смерти. Сама жанровая интенциональность в данном случае способствует этому. И не только потому, что автор воспоминаний оставляет о себе (и своих современниках, близких) память в виде текста. Но и потому, что в пределах самого мемуарного произведения не может быть зафиксирована смерть мемуариста, ее нет и не может быть, в контексте мемуарного нарратива она находится вне поля зрения автора-самовидца. Он может рассуждать о смысле жизни, бренности бытия и близости смерти вообще, как это делает, например, И.В. Лопухин, в чьих записках нашло отражение масонское представление о воскресении-перерождении: «Надобно человеку, так сказать морально переродиться <...> Сие моральное перерождение, чрез которое только человек становится образом и подобием Божиим» [7. С. 21]. В Предуведомлении к первому номеру журнала «Утренний свет» Н.И. Новиков писал: «Собрание наше состоит только из десяти; а сложив вместе время нашей жизни, составит не более тридцати лет» [8. С. 107]. Подобное утверждение объясняется, конечно же, метафорической смертью неопита в прежнем статусе и рождении в новой жизни. Масонский ритуал посвящения имитирует ситуацию смерти и воскресения, преодолевая, таким образом, сам факт смерти физической.

Преодоление смерти в мемуарном тексте может быть достигнуто и просто не-описанием ее, не-

упоминанием даже. В этом смысле наибольший интерес представляют «Своеручные записки» Н.Б. Долгорукой, которые она пишет в 1767 г., спустя 28 лет после страшной казни мужа. На протяжении всего текста ни разу Долгорукая не проговаривается о его смерти, это событие остается «за скобками», в пространстве текста его нет. Учитывая, что на момент написания (по просьбе старшего сына) воспоминаний она уже схимонахиня Нектария, такое умолчание становится особенно значимым.

Еще один способ преодоления смерти в контексте мемуарного повествования – сюжетная ситуация болезни-исцеления, которая присутствует практически во всех текстах воспоминаний. Болезнь всегда в мемуарах описывается как порог между жизнью и смертью. Так пишет, например, А.Т. Болотов: «Несколько недель спустя после нашего приезда принужден я был переходить тот порог, который переступают почти все молодые люди тогдашнего моего возраста и нередко, спотыкаясь, погибают, а именно – слечь и вытерпеть жестокою горячку» [9. С. 268]. В таком контексте преодолеть болезнь, пойти на поправку – значит одержать победу над смертью. Лопухин с своих «Записках» рассказывает об исцелении от болезни почти в агиографической традиции описания чудес. «Неожиданный перелом болезни» случился после того, как Лопухин, устыдившись «мерзости своего поступка» по отношению к камердинеру, которого он жестоко выругал за небольшую оплошность, «залившись слезами», бросился к нему в ноги. «Тут мне сказали, что священник пришел с дарами, – пишет Лопухин далее. – Я пошел в слезах ж причащаться, – и причастился подлинно. Провождая священника лег я отдохнуть. Уснул с час, и проснувшись почувствовал в теле моем такую теплоту здоровья, какой медики уже для меня в натуре не предполагали. Словом: я проснулся здоров» [7. С. 40–41].

Отметим, что смерть в мемуарных произведениях лежит в сфере неочечной, поскольку это событие природного свойства, не зависящее от воли человека. Это касается, прежде всего, смерти естественной, как закономерного итога жизни. Смерть в результате болезни воспринимается сходным образом – все в руках божьих. Такая смерть не оценивается с этической точки зрения, но переживается эмоционально. Это касается, прежде всего, смерти родителей, что, с одной стороны, безусловно, осознается как неизбежность, но с другой стороны, переживается как полная неожиданность. В «Записках» И.В. Лопухина так описывается смерть отца: «В том же году летом скончался он на руках моих: и хотя он и был девяноста двух лет, и в крайнем расслаблении; однако смерть его огорчила меня столько, как бы и за много лет перед тем случилась» [Там же. С. 89].

Но, как отмечал Ю.М. Лотман, «тем более значимыми оказываются случаи соединения её (смерти. – О.Ф.) с представлениями о молодости, здоровье, красоте – т.е. образы насильственной смерти» [3. С. 240]: гибель на войне, в плену, казни, убийства. Сюда, как нам кажется, следует добавить и переживаемую как катастрофа преждевременную смерть близкого человека (смерть матери в записках Н.Б. Долгорукой и

И.В. Лопухина, «Похождении прапорщика Климова»; смерть супруга в записках Е.Р. Дашковой и Г.Р. Державина; смерть ребенка в записках М.В. Данилова).

Если естественная смерть по старости хотя и переживается трагически, но осознается авторами мемуаров, тем не менее, как закономерность и предопределенность, то насильственная или внезапная смерть воспринимаются как нарушение естественного порядка вещей: «Что касается смертной казни, то она по мнению моему и бесполезна, кроме того, что одному только Творцу жизни известна та минута, на которую можно ее пресечь, не возмущая порядка его божественного строения», – писал И.В. Лопухин [7. С. 11–12]. В «Записках» Дашковой о смертной казни также говорится как о событии из ряда вон выходящем: «После того, как казнили Мировича (со дня моего появления на свет это был первый человек, которого покарали смертью), я только была довольна, что никогда его не видела, иначе под впечатлением казни мне во сне могло бы представляться его лицо» [5. С. 135–136]. Даже если смертная казнь была справедливым наказанием с точки зрения мемуариста, она все равно переживалась им как нечто ужасающее и из ряда вон выходящее: «В 1739 году, – пишет М.В. Данилов, – пойман был разбойник князь Лихутьев и в Москве на площади казнен; голова его была поставлена на кол. Сие для меня было первое ужасное зрелище» [10. С. 312].

Отметим еще одну характерную особенность изображения смерти в мемуарных текстах XVIII в.: смерть естественная, как правило, фиксируется, переживается автором, но не изображается. То есть нет описания самого момента смерти (даже если автор присутствовал при этом непосредственно, как, например, Лопухин при смерти своего отца), не изображается мертвое тело, не будет подробностей похорон и т.п. Но смерть неестественная (казнь или гибель), как правило, изображается если и не очень подробно, то в любом случае с упоминанием конкретных деталей. В записках майора Данилова, например, есть несколько эпизодов, в которых описывается гибель людей в огне или угарном дыму (это связано, конечно, с родом деятельности автора-мемуариста, который был одним из первых русских профессиональных фейерверкеров): «Как только я из светлицы вышел, как сделался в ней от неосторожности пожар: захватило всю оную огромную светлицу пламенем, пороховым и ртутиальным дымом, отчего в людях сделалось вдруг великое замешательство; <...> оным дымом у многих захватило и остановило дыхание, не могли более бежать и падали на землю без памяти. В такой кутерьме и тревоге <...> прочих подмяли под себя на пол, которых бежавшие и спасавшие свою жизнь топтали ногами, по чем ни попало <...> несколько человек мастеровых задохнулись и найдены мертвые» [Там же. С. 329–330]. Вид чужой смерти и осознание того, что его самого от этой участи уберегла случайность, становится словно бы предостережением для автора записок. В своей дальнейшей деятельности он был «аккуратен, до излишества», о чем написал не только в своих мемуарах, но и в «артиллерийского знания книжке» «Начальные знания теории

и практики в артиллерии с приобщением гидростатических правил», которую он издал в 1762 г.

Вид чужой смерти, воспринятой как тема для размышлений и урок самому себе, описан и в мемуарах А.Т. Бологова: «...обстоятельством, удерживавшим меня от распутной жизни, было то, что не успел я смениться с караула, как на другой день после того случилось мне видеть погребение одного молодого офицера стоявшего тут до нас другого полка и умершего наихжалостнейшим образом от венерической болезни, нажитой им во время стояния в сем городе. Сие зрелище <...> впечатлело в сердце моем такой страх и отвращение, что я тогда же еще сам в себе положил наивозможнейшим образом от всех тамошних женщин убежать и от них, как от некоего яда и заразы, страшиться и остерегаться. А сие много мне и помогало в тогдешнее опасное время» [9. С. 537].

«Зрелище» чужой неестественной и несвоевременной смерти влияет не только на эмоциональное состояние мемуариста, но и заставляет его переосмыслить свою прежнюю жизнь. Тем более, если автору мемуаров пришлось испытать на себе участь приговоренного к смерти, как, например, А.Я. Климову, которого в бытность его в прусской армии за убийство вахмистра приговорили «яко смертоубийцу аркибузировать» [11. С. 56]. Ему чудом удалось избежать казни, но позже пришлось быть непосредственным свидетелем страшного убийства пьяным отцом своих малолетних детей. Это событие произвело на него настолько сильное впечатление, что даже испытанные им самим лишения и страдания во время возвращения в Россию после почти 30-летнего «ига прусского», не вытеснили его из памяти, и Климов довольно подробно описывает этот эпизод и пережитые тогда эмоции в «Похождении» уже после возвращения на родину.

Авторы мемуаров, как правило, являются свидетелями многих смертей и переживают множество потерь, что становится объектом фиксирования и описания в их текстах. Многократность переживания смерти близких и знакомых мемуаристу людей объясняет тот факт, что смерть часто утрачивает признаки экстраординарности, перестает мыслиться как событие исключительное и начинает восприниматься в несколько иных категориях: «Многократно повторяющееся действие или положение дел перестает восприниматься событийно и предстает естественным, неизбежным “шагом” природного, социального или ментального процесса» [2. С. 183]. «А к мертвецам привык я уже в течение жизни моей, теряя людей, сердцу моему любезных», – словно бы фиксирует эту особенность восприятия мемуарного нарратора Д.И. Фонфизин в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях» [12. С. 86].

Иногда в мемуарных текстах XVIII в. в изображении смерти участвует и смеховое начало. Так, например, в «Записках» М.В. Данилова на фоне трагически пережитых и соответственно описанных смертей есть один эпизод, в котором смерть предстает почти в анекдотическом виде. Речь идет о шутке, которую разыграл один из сослуживцев Данилова, отнесясь без должного уважения к умершей жене хозяина дома, где

располагалась полковая канцелярия: «...умерла у хозяина престарелая женщина, которую, по обряду положив в гроб, вынесли на ночь в сени; морозы были тогда жестокие, отчего упокойница получила в теле окаменение. Он еще с вечера, приметя старушку в гробу, захотел из оной упокойницы сделать шутку. <...> встав перед светом <...> вынул старуху из гроба, притащил ее в полковую канцелярию и, поставив стоймя возле печи, сам лег <...> спать» [10. С. 343]. Совершенно понятно, какая суматоха началась потом. Истопник *«впотмах, зацепил за старуху, окостенелую от мороза, которая упавши на пол, сделала большой стук. Зрители <...> потуда претерпевали страх и стужу, покуда хозяин взял свою беглую старуху и положил по-прежнему в ее вечный дом»* [Там же. С. 344]. При помощи шутника старуха получила возможность встать из гроба и принять участие в розыгрыше. Выражение «беглая старуха», используемое в данном случае Даниловым, словно бы подтверждает ее участие (практически добровольное) в этом представлении. Суеверный страх перед «ожившей» покойницей сначала и пришедший ему на смену смех вполне в духе древних мистерий преодоления смерти. Игровая ситуация в данном случае сопрягает трагическое и анекдотическое начала при изображении смерти в мемуарном нарративе.

Смерть как компонент мемуарного сюжета обладает большой семантической и ситуативной вариативностью. В настоящей статье представлены варианты морального компонента мемуарного сюжета. Но, безусловно, нельзя обойти и тот факт, что, будучи центром обширного семантического поля, смерть оказывается онтологически близка к своей противоположности – рождению, что отмечала еще О.М. Фрейденберг [13].

В мемуарной литературе на это указывает, по крайней мере, то, что рождение и смерть описываются как процесс преемственности поколений, обеспечивающий вечность бытия [14]. Ощущение мимолетности и вечности одновременно: это связано, на наш взгляд, с особым ощущением времени в мемуаристике. С одной стороны, попытка ухватить, вспомнить, зафиксировать, оставить в памяти события, случаи, детали быстро проходящей жизни; с другой – осознание того, что то, что записано, останется навсегда, не будет поглощено «жерлом вечности» (Державин) и не исчезнет. Как и сам мемуарист, который, описывая смерти других, по отношению к рассказываемому остается в положении всегда живого свидетеля происходящего для потомков и читателей последующих времен и поколений. Это в полной мере соответствует интенции самого мемуарного жанра – стремлению к преодолению смерти и, в конечном итоге, к бессмертию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шатин Ю.В., Силантьев И.В. Сюжетология и сюжетология как базовые основы нарратологии // Сюжетология и сюжетология. 2013. № 1. С. 3–6.
2. Тюпа В.И. Нарратология как тенденция развития современного филологического знания // Филология и человек. 2010. № 1. С. 179–188.
3. Лотман Ю.М. Смерть как проблема сюжета // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 417–430.
4. Долгорукая Н.Б. Своеручные записки княгини Наталья Борисовны Долгорукой, дочери г.-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева // Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 256–279.
5. Дашкова Е.Р. Записки // Записки и воспоминания русских женщин XVIII – первой половины XIX века. М., 1990. С. 68–280.
6. Державин Г.Р. Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина // Державин Г.Р. Избранная проза. М., 1984. С. 24–246.
7. Лопухин И.В. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И.Герцена и Н.П.Огарева. Записки сенатора И.В. Лопухина. Репринтное воспроизведение. М., 1990.
8. Новиков В.И. МASONСТВО и русская культура. М., 1998.
9. Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков. М., 2013. Т. 1.
10. Данилов М.В. Записки Михаила Васильевича Данилова, артиллерии майора, написанные им в 1771 году (1722–1762) // Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 282–350.
11. Климов А.Я. Похождение прапорщика Климова. СПб., 2011.
12. Фонвизин Д.И. Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях // Фонвизин Д.И. Собрание сочинений. Л., 1959. Т. 2. С. 81–105.
13. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
14. Фарафонова О.А. Рождение и смерть в русской мемуаристике XVIII века // Сюжетология и сюжетология. 2016. № 2. С. 65–74.

Статья представлена научной редакцией «Филология» 17 августа 2017 г.

DEATH IN THE PLOT OF RUSSIAN MEMOIRS OF THE 18TH CENTURY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 422, 40–44.

DOI: 10.17223/15617793/422/6

Oksana A. Farafonova, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: oxana.faroks@yandex.ru

Keywords: memoirs; plotography; death; self-observing author; event.

In this article, plots of Russian memoirs of the XVIII century are considered from the point of view of identification of semantic and situational variants of the mortal component which should be attributed to the mandatory components of the memoir plot. The material of the research are autobiographical texts of the 18th century. The specifics of the image and understanding of death in the memoir text consists in the following: death is both event-related and non-event-related. This largely depends on the degree of “inclusiveness” (event-related, emotional) of the author in the situation described. In the first case it concerns people significant for the memoirist (parents, spouse, state “man”, etc.) whose death is important in the personal story the author is telling. The plot situation “the death of the ruler / monarch” in a series of memoir plot situations involving death stands out. It is as frequent in the memoirs of the 18th century as situations involving the death of close relatives, which is understandable: personal biography is perceived as part of history, because one’s own fate often depends on the will of the monarch. Memoir plots essentially implement the general cultural

tendency to overcome death and fear of death. The genre intentionality itself contributes to this, not only because the author leaves memories about himself (his contemporaries, friends) in the form of text, but also because memoirs can not fix the memoirist's death, it is not and can not be in the context of a memoir narrative, death is out of sight of the self-observing author. Death in memoir writings is not assessed, since this event is a natural property that does not depend on the will of man. This concerns, first of all, natural death as a logical outcome of life. Death as a result of an illness is perceived in a similar way: everything is in God's hands. This death is not assessed from the ethical point of view, but is experienced emotionally. This concerns, first of all, death of parents, on the one hand, of course, recognized as inevitable; on the other hand, experienced as a totally unexpected event. Natural death in the old age, even though experienced as tragic, is recognized by the authors of memoirs as a regularity and predetermination, violent or sudden deaths are perceived as a violation of the natural order of things. Another feature of the image of death in memoir texts of the 18th century is that natural death is usually fixed, experienced by the author, but not represented, that is there is no description of the moment of death (even if the author witnessed it, e.g., Lopukhin at the death of his father): the dead body and funeral details are not described. But unnatural death (execution or casualty) is usually portrayed, if not in great detail, with reference to specific details. As a component of the memoir plot, death has a great semantic and situational variability and, being the center of a vast semantic field, is ontologically close to its opposite – the birth. First of all, this connection is ensured by a special sense of time in memoirs, a combination of the transient and the eternal.

REFERENCES

1. Shatin, Yu.V. & Silant'ev, I.V. (2013) Theory and analysis of plot as the base of narratology. *Syuzhetologiya i syuzhetografiya*. 1. pp. 3–6.
2. Tyupa, V.I. (2010) Narratologiya kak tendentsiya razvitiya sovremennogo filologicheskogo znaniya [Narratology as a trend in the development of modern philological knowledge]. *Filologiya i chelovek*. 1. pp. 179–188.
3. Lotman, Yu.M. (1994) Smert' kak problema syuzheta [Death as a problem of the plot]. In: Koshelev, A.D. *Yu.M. Lotman i tartusko-moskovskaya semioticheskaya shkola* [Yu.M. Lotman and the Tartu-Moscow semiotics school]. Moscow: Gnozis.
4. Dolgorukaya, N.B. (1991) Svoeruchnye zapiski knyagini Natal'ya Borisovny Dolgorukoy, docheri g.-fel'dmarshala Borisa Petrovicha Sheremeteva [Letters of Princess Natalia Borisovna Dolgorukaya, the daughter of General Field Marshal Boris Petrovich Sheremetev]. In: Anisimov, E.V. *Bezvremen'e i vremenshchiki* [Timelessness and time servers]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.
5. Dashkova, E.R. (1990) Zapiski [Notes]. In: Moiseeva, G. (ed.) *Zapiski i vospominaniya russkikh zhenshchin XVIII – pervoy poloviny XIX veka* [Notes and memoirs of Russian women of the 18th – first half of the 19th centuries]. Moscow: Sovremennik.
6. Derzhavin, G.R. (1984) *Izbrannaya proza* [Selected prose]. Moscow: Sovetskaya Rossiya. pp. 24–246.
7. Lopukhin, I.V. (1990) *Rossiya XVIII stoletiya v izdaniyakh Vol'noy russkoy tipografii A.I. Gertsena i N.P. Ogareva. Zapiski senatora I.V. Lopukhina* [Russia of the 18th century in the publications of the Free Russian Printing House of A.I. Herzen and N.P. Ogarev. Notes of Senator I.V. Lopukhin]. Reprint. Moscow: Nauka.
8. Novikov, V.I. (1998) *Masonstvo i russkaya kul'tura* [Masonry and Russian culture]. Moscow: Iskusstvo.
9. Bolotov, A.T. (2013) *Zhizn' i priklyucheniya Andrey Bolotova, opisannyya im samim dlya svoikh potomkov* [The life and adventures of Andrei Bolotov, described by himself for his descendants]. Vol. 1. Moscow: Institut russkoy tsivilizatsii.
10. Danilov, M.V. (1991) Zapiski Mikhaila Vasil'evicha Danilova, artillerii mayora, napisannye im v 1771 godu (1722–1762) [Notes of Mikhail Vasilievich Danilov, artillery major, written by him in 1771 (1722–1762)]. In: Anisimov, E.V. *Bezvremen'e i vremenshchiki* [Timelessness and time servers]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.
11. Klimov, A.Ya. (2011) *Pokhozhdenie praporshchika Klimova* [The adventure of Ensign Klimov]. St. Petersburg: Pushkinskiy Dom.
12. Fonvizin, D.I. (1959) *Sobranie sochineniy* [Works]. Vol. 2. Leningrad: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Khudozhestvennoy Literatury. pp. 81–105.
13. Freydenberg, O.M. (1997) *Poetika syuzheta i zhanra* [Poetics of the plot and the genre]. Moscow: Labirint.
14. Farafonova, O.A. (2016) Birth and death in the plot of Russian memoirs of XVIII century. *Syuzhetologiya i syuzhetografiya*. 2. pp. 65–74. (In Russian).

Received: 17 August 2017